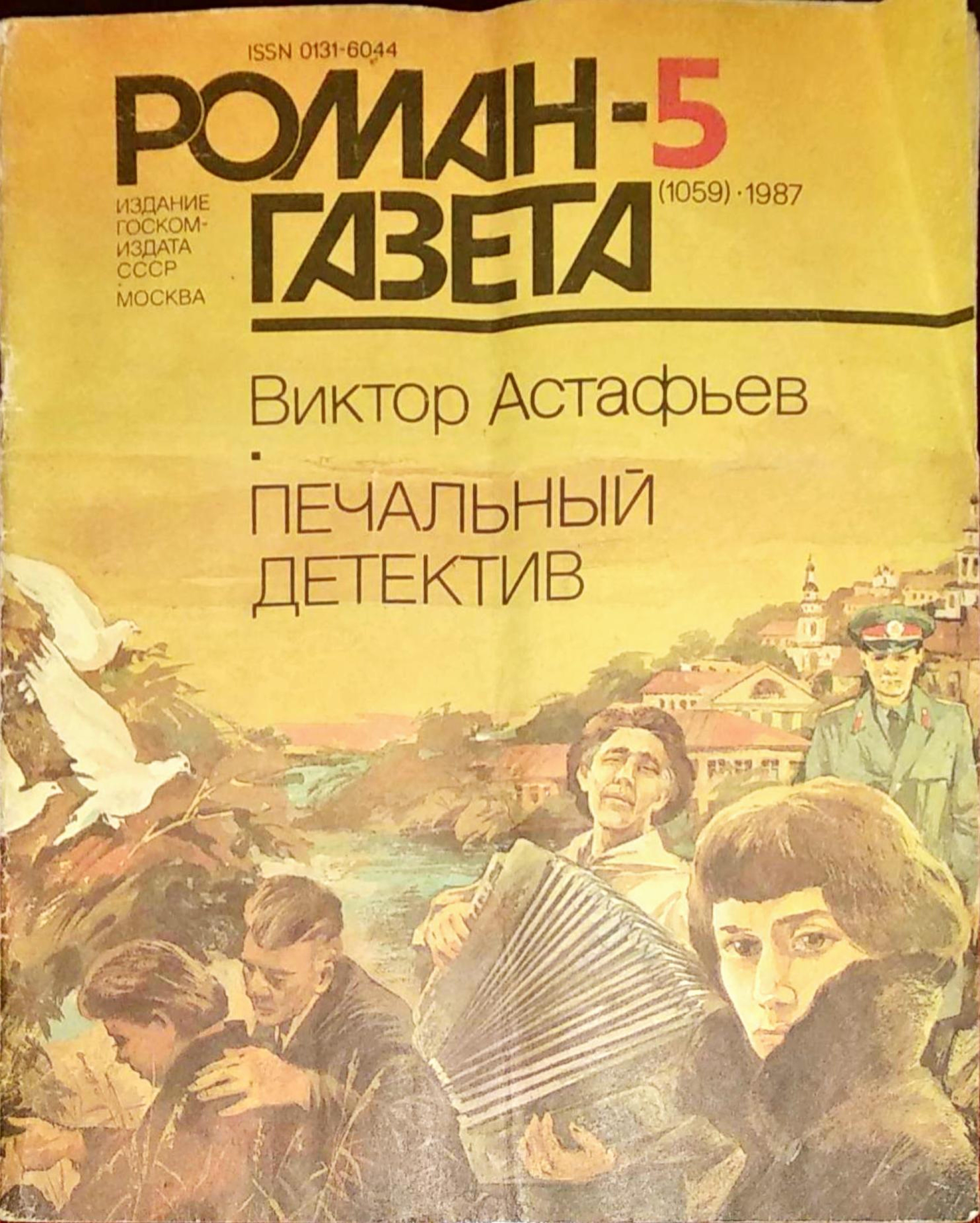
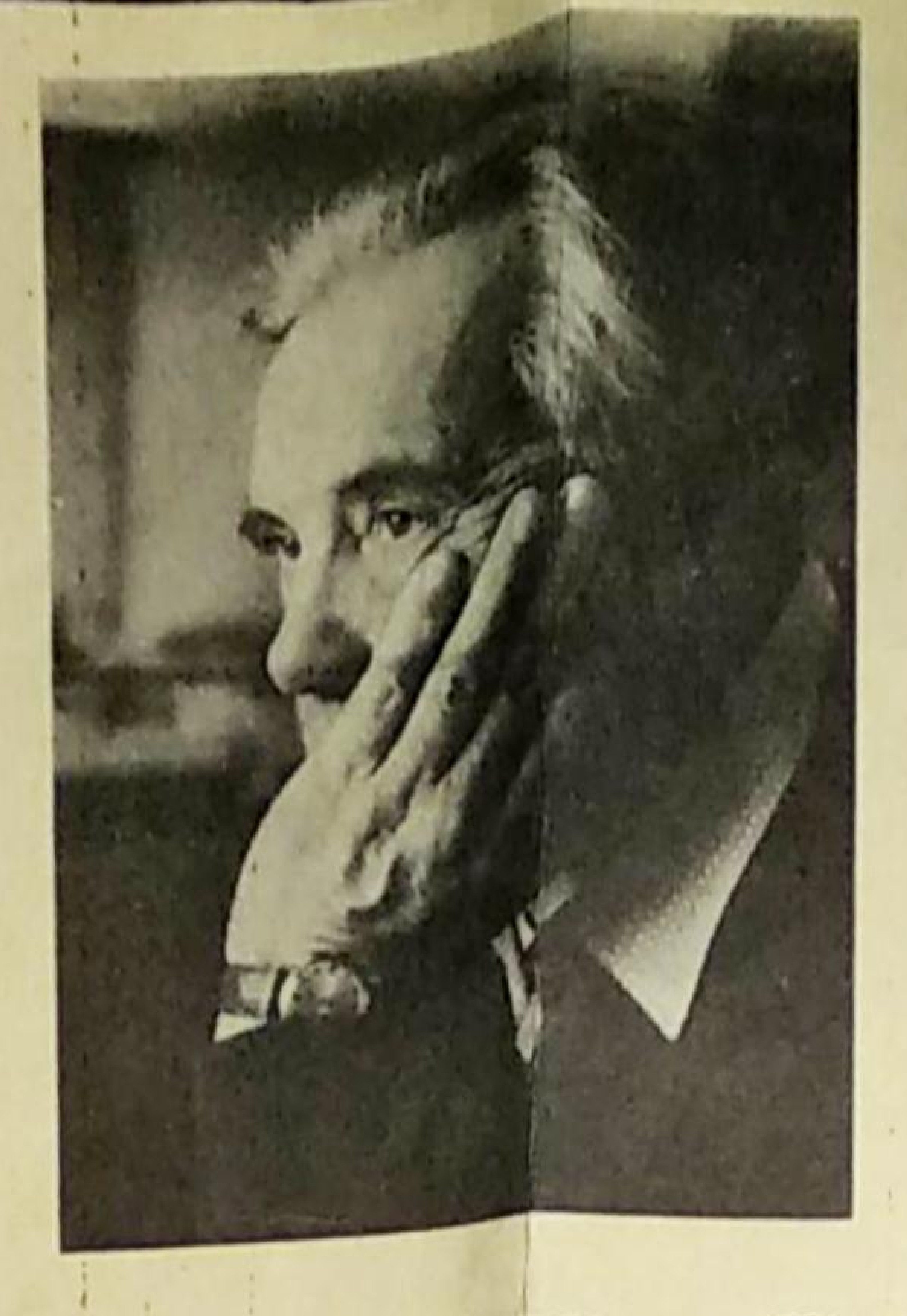


ISSN 0131-6044
РОМАН-ГАЗЕТА
5
(1059) · 1987
ИЗДАНИЕ
ГОСКОМ-
ИЗДАТА
СССР
МОСКВА
Виктор Астафьев
ПЕЧАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ



Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в селе Овсянка близ Красноярска. Рано лишившись матери, воспитывался в семье бабушки и дедушки, затем в детском доме.

В 1941 году поступил в железнодорожную школу ФЗО на станции Енисей, после окончания которой работал составителем поездов в пригороде Красноярска. Оттуда осенью 1942 года ушел на фронт: был шофером, артразведчиком, связистом. Получил тяжелое ранение.

В 1945 году демобилизовался. Восемнадцать лет прожил на Урале, в городе Чусовом. Работал грузчиком, слесарем, литейщиком. Одновременно учился в вечерней школе.

В 1951 году в газете «Чусовской рабочий» напечатан первый его рассказ «Гражданский человек». В 1953 году в Перми вышел первый сборник рассказов «До будущей весны».

В 1961 году В. Астафьев окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.

Ныне Виктор Астафьев — один из самых читаемых писателей. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Наиболее известные произведения: «Стародуб» (1959), «Перевал» (1959), «Звездопад» (1960), «Кража» (1966), «Последний поклон» (1968, 1978), «Пастух и пастушка» (1971), «Царь-рыба» (1975).

Повести и рассказы В. Астафьева переводятся на многие языки мира.

РОМАН-ГАЗЕТА 5
(1059) · 1987
Основана в 1927 г.
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

Виктор Астафьев

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Леонид Сошнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус — пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать.

Собственно, издательства, как такового, в городе Вейске не было, от него осталось отделение, само же издательство перевели в город более крупный, и, как, наверное, думалось ликвидаторам, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но «база» была такой же точно, как в Вейске, — дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконец по низу и фасонно изогнутыми по верху, тоже узкими, но уже вознесенными ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко и что-то все время, будто в заложенных ушах, сверчало или работал, закопанный в подземелье, взрывной механизм замедленного действия.

Отделение издательства ютилось в двух с половиной комнатах, со скрипом выделенных областной газетой. В одной из них, окутавшись сигаретным дымом, дергалось, елозило на стуле, хваталось за телефон, сорило пеплом местное культурное светило — Сыроквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком: если не во всей культуре страны, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда, в газетах же, и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Эренбурга, Юрия

Олеши, Трегуба и Ермилова, впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожила, вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходила.

Все уже давно с книгой Сошнина решено. Рассказы из нее напечатаны пусть и в тонких, но столичных журналах, разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях, он пять лет простоял «в затылок», попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу.

Назначив время делового свидания ровно в десять, Сыроквасова явилась в отделение издательства к двенадцати. Опахнув Сошнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору — лампочки кто-то «увел», хрипло бросила «Извините!» и долго хрустела ключом в неисправном замке, вполголоса ругаясь.

Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно не притворяющаяся плица пустила в коридор щель серого, унылого света — на улице вторую неделю шел мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход — в декабре-то!

Тупо и непрерывно ныла нога, жгло и сверлило плечо от недавней раны, долила усталость, тянуло в сон — ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая это болезнь — графоманство», — усмехнулся Сошнин и, кажется, задремал, но тут встряхнуло тишину стуком в гулкую стену.

— Галя! — с надменностью бросила в пространство Сыроквасова. — Позови ко мне этого гения!

Галя — машинистка, бухгалтер да еще и секретарша. Сошнин осмотрелся: в коридоре больше никого не было, гений, стало быть, он.

— Эй! Где ты тут? — ногой приоткрыв дверь, высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. — Иди. Зовут.

Сошнин передернул плечами, поправил на шее новый, атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам — маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина, вот и приучился оглаживаться. «Спокойно! Спокойно!» — приказал себе Сошнин и, воспитанно кашлянув, спросил:

— Можно к вам? — Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сыроквасовой охватил: старинная точеная этажерка в углу; надетая на точеную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой, на струганом, но некрашеном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в ледериновых переплетах.

— Раздевайтесь, — кивнула Сыроквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. — Там вешалок нет, вбиты гвозди. Садитесь, — указала она на стул напротив себя. И когда Сошнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола.

Сошнин едва узнал папку со своей рукописью — сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором опять же бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела, кто-то пролил на папку чай. Вундеркинды Сыроквасовой — у нее трое сыновей от разных творческих производителей — нарисовали на папке голубя мира, танк со звездою и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал, название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером: «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это, и нес он в издательство папку с чувством не изведанного еще обновления в сердце, и жажду жить, творить, быть полезным людям — так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкарабкавшимися из «оттуда».

Беленькая наклейка сделалась серенькой, кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был, но праздничное настроение и светлость в сердце — где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сыроквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в его творчестве в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвытрезвителе. Сошнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-что, это усвоил. Накрепко. Навсегда.

— Ну-с, значит, дороже всего жизнь, — скривила губы Сыроквасова и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности: — Дороже всего... дороже всего...

— Я так думал пять лет назад.

— Что вы сказали? — подняла голову Сыроквасова, и Сошнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же, сохлой краской подведенные ресницы и брови — мелкие черные комочки застряли в уже очерствелых, полувылезших ресницах и бровях. Одета Сыроквасова в удобную одежду — этакую современную бабью спецовку: черную водолазку — не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху — не надо гладить.

— Я думал так пять лет назад, Октябрина Перфильевна.

— А сейчас так не думаете? — Язвительность так и сквозила в облике и словах Сыроквасовой, роющейся в рукописи, словно в капустных отбросах. — Разочаровались в жизни?

— Еще не совсем.

— Вот как! Интересно-интересно! Похвально-похвально! Не совсем, значит?..

«Да она же забыла рукопись! Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то, на ходу ознакомиться с ней вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? Очень любопытно!» — Сошнин ждал, не отвечая на последний полувопрос редакторши.

— Я думаю, разговора длинного у нас не получится. Да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение

в божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу, если в типографии ничего не стрясется, если не сократят план и тэ-дэ и тэ-пэ. Но я вот о чем хотела бы поговорить с вами, на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать, печатаетесь, хотя и не часто, но злободневно, да и тема-то у вас актуальная — ми-ли-цейс-кая!

— Человеческая, Октябрина Перфильевна.

— Что вы сказали? Ваше право так думать. А если откровенно — до человеческих, тем более общечеловеческих проблем вам еще ой как далеко! Как говорил Гете: «Уннер айх бар ви дер химмель» — «Высоко и недоступно, как небо».

Что-то не встречал Сошнин у великого немецкого поэта подобного высказывания. Видать, Сыроквасова в суетности жизни спутала Гете с кем-то или неточно его процитировала.

— Вы еще не усвоили толком, что такое фабула, а без нее, извините, ваши милицейские рассказики — мякина, мякина с обмолоченного зерна. — Понесло Сыроквасову в теорию литературы. — А уж ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция — это за семью печатями. Есть еще форма, вечно обновляющаяся, подвижная форма...

— Что такое форма — я знаю.

— Что вы сказали? — очнулась Сыроквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под которым красовались рисунки ее гениальных детей, мятая фотография заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине угодившего в модные, почти святые ряды преставившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета, и вся Сыроквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени и воспринималась словно действующее лицо в телевизоре, где устарел кинескоп и не работало две лампы.

— Я сказал, что знаю форму. Носил ее.

— Я не милицейскую форму имела в виду.

— Не понял вашей тонкости. Извините. — Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлестывать бешенство. — Если я вам более не нужен, позволю себе откланяться.

— Да-да, позволяйте, — чуть смешалась Сыроквасова и перешла на деловой тон. — Аванс вам в бухгалтерии выпишут. Сразу шестьдесят процентов. Но с деньгами у нас, как всегда, плохо.

— Спасибо. Я получаю пенсию. Мне хватает.

— Пенсию? В сорок лет?!

— Мне сорок два, Октябрина Перфильевна.

— Какой это возраст для мужчины? — Как и всякое вечно раздраженное существо женского рода, Сыроквасова спохватилась, завиляла хвостом, пробовала сменить язвительность тона на полушутливую доверительность.

Но Сошнин не принял перемен в ее тоне, раскланялся, выбрел в полутемный коридор.

— Я подержу дверь открытой, чтоб вы не убились, — крикнула вослед Сыроквасова.

Сошнин ей не ответил, вышел на крыльцо, постоял под козырьком, украшенным по ободку старинными деревянными кружевами. Искрошены они скучающими рукосуями, будто ржавые пряники. Подняв воротник утепленного милицейского плаща, Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустоту. Он зашел в местный бар, где постоянные клиенты встретили его одобрительным гулом, пробовали завязать «беседы», взял рюмку коньяку, выпил ее махом и вышел вон, чувствуя, как черствеет во рту и теплеет в груди. Жжение в плече как бы стиралось теплотою, ну а к боли в ноге он как будто привык, пожалуй что, просто примирился с нею.

«Может, еще выпить? Нет, не надо, — решил он, — давно не занимался этим делом, еще захмелею...»

Он шел по родному городу, из-под козырька мокрой кепки, как приучила служба, привычно отмечал, что делалось вокруг, что стояло, шло, ехало. Ехало мало, а много стояло, шло настороженно. Гололедица притормозила не только движение, но и самое жизнь. Люди сидели по домам, работать предпочитали под крышей, сверху лило, хлюпало всюду, текло, вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно, плоско, неорганизованно: лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу, из щели в щель. Всюду обнаружился прикрытый было мусор: бумага, окурки, раскисшие коробки, трепыхающийся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки, их шевелило, иную птицу роняло ветром, и она тут же слепо и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчаньем мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клекнув, смолкала.

И мысли Сошнина под стать погоде, медленно, загустело, едва шевелились в голове, не текли, не бежали, а вот именно шевелились, и в этом шевелении ни света дальнего, ни мечты, одна лишь тревога, одна забота — как дальше жить?

Ему было совершенно ясно — в милиции он отслужил, отвоевался. Навсегда! Привычная линия, накатанная, одноколейная — истребляй зло, борись с преступниками, обеспечивай покой людям, — разом, как железнодорожный тупик, возле которого он вырос и отыграл детство свое в «железнодорожника», оборвалась. Рельсы кончились, шпалы, их связующие, кончились, дальше никакого направления, никакого пути нет, дальше вся земля сразу, за тупиком, — иди во все стороны, или вертись на месте, или сядь на последнюю в тупике, истрескавшуюся от времени, уже и не липкую от пропитки, выветренную шпалу и, погрузившись в раздумье, дремли или ори во весь голос: «Сяду я за стол да подумаю, как на свете жить одинокому...»

Как на свете жить? Одинокому? Трудно на свете жить без привычной службы, без работы, даже без казенной амуниции и столовой, надо даже об одежонке и еде хлопотать, где-то стирать, гладить, варить, посуду мыть.

Но не это, не это главное, главное — как быть да жить среди народа, который делился долгое время на преступный мир и непреступный мир. Преступный, он

все же привычен и одполик, а этот? Каков он в пестроте своей, в скопище, суете и постоянном движении? Куда? Зачем? Какие у него намерения? Каков норов? «Братцы! Возьмите меня! Пустите к себе!» — хотелось закричать Сошнину сперва вроде бы в шутку, поерничать привычно, да вот закончилась игра. И обнаружилась, подступила вплотную житуха, будни ее, ах, какие они, будни-то, у людей будничные.

Сошнин хотел зайти на рынок, купить яблок, но возле ворот рынка с перекосившимися фанерными буквами на дуге «Добро пожаловать», корячилась и привязывалась к прохожим пьяная женщина по прозванию Урна. За беззубый, черный и грязный рот получила прозвище, уже и не женщина, какое-то обособленное существо, со слепой, полубезумной тягой к пьянству и безобразиям. Была у нее семья, муж, дети, пела она в самодеятельности железнодорожного ДК под Мордасову — все пропила, все потеряла, сделалась позорной достопримечательностью города Вейска. В милицию ее уже не брали, даже в приемнике-распределителе УВД, который в народе зовется «бичевником», а в старые времена звался тюрьмой для бродяг, не держали, из вытрезвителя гнали, в Дом престарелых не принимали, потому что она была старой лишь на вид. Вела она себя в общественных местах срамно, стыдно, с наглым и мстительным ко всем вызовом. С Урной невозможно и нечем бороться, она, хоть и валялась на улице, спала по чердакам и на скамейках — не умирала и не замерзала.

А-ах, мой вессссе-олай смех
Всегда имел успех... —

хрипло орала Урна, и моросью, стылой пространственностью не вбирало ее голоса, природа как бы отделяла, отталкивала от себя свое исчадье. Сошнин прошел рынок и Урну стороной. Все так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске. И вдруг посреди этой беспросветной, серой планеты произошло оживление, послышался говор, смех, на перекрестке испуганно кхекнула машина.

По широкой, осенью лишь размеченной улице, точнее, по проспекту Мира, по самой его середке, по белым пунктирам разметки неспешно следовала пегая лошадь с хомутом на шее, изредка охлестываясь мокрым, форсисто постриженным хвостом. Лошадь знала правила движения и цокала подковами, как модница импортными сапожками, по самой что ни на есть нейтральной полосе. И сама лошадь, и сбруя на ней были прибраны, ухожены, животное совершенно не обращало ни на кого и ни на что внимания, неспешно топая по своим делам.

Народ единодушно провожал лошадь глазами, светлел лицами, улыбался, сыпал вослед коняге реплики: «Наладила от скупого хозяина!», «Сама пошла сдаваться на колбасу», «Н-не, в вытрезвитель — там теплей, нежели в конюшне», «Ничего подобного! Идет докладывать супружнице Лаври-казака насчет его местонахождения...».

Сошнин тоже заулыбался из-под воротника, проводил лошадь взглядом — она шла по направлению к пивзаводу. Там ее конюшня. Хозяин ее, коновозчик пивзавода Лавря Казаков, в народе — Лавря-казак, старый гвардеец из корпуса генерала Белова, кавалер трех орденов Славы и еще многих боевых орденов и медалей, развез по «точкам» ситро и прочие безалкогольные напитки, подзасел с мужичками на постоянной «точке» — в буфете Сазонтьевской бани — потолковать о прошлых боевых походах, о современных городских порядках, про лютость баб и бесхарактерность мужиков, лошадь же разумную свою, чтоб не мокло и не дрогло животное под небом, пустил своим ходом на пивзавод. Вся вейская милиция, да и не только она, все коренные жители Вейска знали: где стоит пивзаводская телега, там ведет беседы и отдыхает Лавря-казак. А лошадь у него ученая, самостоятельная, все понимает и пропасть себе не даст.

«Вот уж и сместилось что-то в душе, и погода дурная не так уж гнетуща, — порешил Сошнин, — привыкнуть пора — родился здесь, в гнилом углу Россини. А посещение издательства? Разговор с Сыроквасовой? Да шут с ней! Ну, дура! Ну, уберут ее когда-нибудь. Книжка ж и в самом деле не ахти — первая, наивная, шибко замученная подражательностью, да и устарела она за пять лет. Следующую надо делать лучше, чтобы издавать помимо Сыроквасовой; может, и в самой Москве...»

Сошнин купил в гастрономе батон, банку болгарского компота, бутылку молока, курицу, если это скорбно зажмуренное, иссиня-голое существо, прямо из шеи которого длинно, когтисто торчало много лап, можно назвать курицей. Но цена прямо-таки гусиная! Однако и это не предмет для досады. Супу вермишельного сварит, хлебнет горяченького и, глядишь, после сытного обеда по закону Архимеда, под монотонную капель из батареи, под стук старых настенных часов — не забыть бы завести, — под шлепанье дождя, полтора-два часа почитает всласть, потом соснет, и на всю ночь за стол — творить. Ну, творить не творить, но все же жить в каком-то обособленном, своим воображением созданном мире.

Жил Сошнин в новом железнодорожном микрорайоне, но в старом двухэтажном деревянном доме под номером семь, который забыли снести, после забытье узаконили, подцепили дом к магистрали с теплой водой, к газу, к сточным трубам — построенный в тридцатых годах по нехитрому архитектурному проекту, с внутренней лестницей, делящей дом надвое, с острым шалашиком над входом, где была когда-то застекленная рама, чуть желтый по наружным стенам и бурый по крыше дом скромно жмурился и покорно уходил в землю между глухими торцами двух панельных сооружений. Достопримечательность, путевая веха, память детства и добрый приют людей. Жители современного микрорайона ориентировали приезжих людей и себя по нему, деревянному пролетарскому строению: «Как пойдешь мимо желтого домика...»

Сошнин любил родной свой дом или жалел — не понять. Наверное, и любил, и жалел, потому что в

нем вырос и никаких других домов не знал, нигде, кроме него и общежитий, не живал. Отец его воевал в кавалерии, и тоже в корпусе Белова, вместе с Лаврей-казаком, Лавря — рядовым, отец — комвзвода. С войны отец не вернулся, погиб во время рейда кав-корпуса по тылам врага. Мать работала в технической конторе станции Вейск, в большой, плоской, полутемной комнате, и жила вместе с сестрой в этом вот домике, в квартире номер четыре, на втором этаже. Квартира состояла из двух квадратных комнаток и кухни. Два окна одной комнатки выходили на железнодорожную линию, два окна другой комнатки — во двор. Квартиру когда-то дали молодой семье железнодорожников, сестра мамы его, Сошнина тетка, приехала из деревни возиться с ним, он ее помнил и знал больше матери оттого, что в войну всех конторских часто наряжали разгружать вагоны, на снегоборьбу, на уборку урожая в колхозы, дома мать бывала редко, за войну надорвалась, на исходе войны тяжело простудилась, заболела и умерла.

Они остались вдвоем с теткой Липой, которую Леня, ошибившись еще в раннем возрасте, назвал Линой, да так Линой она и закрепилась в его памяти. Тетка Лина пошла по стопам сестры и заняла ее место в технической конторе. Жили они, как и все честные люди их поселка, соседством, картофельным участком за городом, от получки до получки дотягивали с трудом. Иногда, если случалось справить обнову или погулять в праздник, — и не дотягивали. Тетка замуж не выходила и не пробовала выходить, повторяя: «У меня Леня». Но погулять широко, по-деревенски шумно, с песнями, переплясами, визгом любила.

Кто? Что сотворил с этой чистой, бедной женщиной? Время? Люди? Поветрие? Пожалуй, что и то, и другое, и третье. В той же конторе, на той же станции она перешла за отдельный стол, за перегородку, потом ее перевели аж «на гору», в коммерческий отдел Вейского отделения дороги. Начала тетя Лина приносить домой деньги, вино, продукты, сделалась взвинченно-веселой, запаздывала домой с работы, пробовала форсить, подкрашиваться. «Ох, Ленька, Ленька! Пропаду я — и ты пропадешь!..» Тетке звонили кавалеры. Ленька, бывало, возьмет трубку и, не здороваясь, грубо спрашивает: «Кого надо?» — «Липу». — «Нету у нас такой!» — «Как это нет?» — «Нет, и все!» Тетя скребнет по трубке лапкой: «Мне это, мне...» — «Ах, вам тетю Лину? Так бы и сказали!.. Да, пожалуйста! Всегда пожалуйста!» И не сразу, а потиранив тетю, передаст ей трубку. Та ее в горсточку зажмет: «Зачем звонишь? Я же говорила, потом... Потом-потом! Когда-когда?..» И смех, и грех. Опыта-то никакого, возьмет и проболтается: «Когда Леня в школу уйдет».

Леня уже подросток, с гонором уже: «Я и сейчас могу уйти! На сколько, подскажи, и бу сделано...» — «Да ну тебя, Леня! — пряча глаза, зардеется тетка. — Из конторы звонят, а ты бог весть что...»

Он ее усмешкой разил, и взглядом презрительным испепелял, особо когда тетя Лина забывалась: отставит стоптанный тапочек, переплетет ногу ногой, вытянется на носочке — этакая фифа-десятиклассница в общественном автомате глазки показывает и «ди-ди-ди, ди-ди-ди...». Паренечку ж как раз пол мести надо, и он обязательно веником ножку тете поправит, на место ее водворит или запоет ломким басом: «Уйми-и-и-итесь, волнения страсти».

Всю жизнь добрая женщина с ним и для него жила, как же он мог ею с кем-то делиться? Современный же мальчик! Эгоист же!

Возле здания областного управления внутренних дел, облицованного почему-то керамической плиткой, завезенной аж с Карпат, но красивей от этого не ставшего, даже как бы еще более помрачневшего, в «Волге» вишневого цвета, навалившись на дверь, дремал шофер Ванька Стригалев в кожанке и кроличьей шапке — тоже очень интересный человек: он мог в машине просидеть сутки, не читая, о чем-то медленно думая. Сошнину доводилось вместе с дворником УВД, дядей Пашей, и его другом, старцем Аристархом Капустиным, ездить на рыбалку, так рыбаки даже чувство неловкости испытывали оттого, что молодой парень с бакенбардами сидит целый день в машине и ждет рыбаков. «Ты бы хоть почитал, Ваня, журналы, газетки или книгу». — «А че их читать-то? Че от их толку», — скажет Ваня, сладко зевнет и платонически передернется.

Вон и дядя Паша. Он всегда метет. И скребет. Снегу нет, смыло, так он воду метет, за ворота ее выгоняет, на улицу. Мести и долбить — это не самоглавнейшее для дяди Паши действие. Был он совершенно помешанным рыбаком и болельщиком хоккея, дворником пошел ради достижения своей цели: человек не пьющий, но выпивающий, дядя Паша, чтобы не разорять пенсию, не рвать ее на части, приработывал дворницкой метлой — на «свои расходы», пенсию же отдавал в надежные руки жены. Та с расчетом и выговором выдавала ему «воскресные». «Ето тебе, Паша, пятерик на рыбалку, ето тебе трояк — на коккей твой клятый».

В УВД держалось еще несколько лошадей и маленькая конюшня, которою ведал дяди Пашин друг, старец Аристарх Капустин. Вдвоем они подкопали родную милицию, дошли до горячих труб, до теплоцентрали, проложенной в здание УВД, навалили на эти трубы конского назьма, земли, перегноя, замаскировали сверху плитами шифера — и таких червей плодили круглый год в подкопе, что за наживку их брали на любой транспорт, даже начальственный. С начальством дядя Паша и старец Аристарх Капустин ездить не любили. Они уставали от начальства и от жен в повседневной жизни, хотели на природе быть совершенно свободными, отдохнуть, забыться от тех и от других.

Старики выходили в четыре часа на улицу, становились на перекрестке, опершись на пешни, и скоро машина, чаще всего кузовная, накрытая брезентом или ящиком из фанеры, притормаживала и как бы

слизывала их с асфальта — чьи-то руки подхватывали стариков, совали их за спины, в гущу народа. «А-а, Паша! А-а, Аристаша! Живы еще?» — раздавались возгласы, и с этого момента бывалые рыбаки, попав в родную стихию, распускались телом и душой, говорили о «своем» и со «своими».

У дяди Паши вся правая кисть была в белых шрамах, и к этим дяди Пашиным шрамам рыбаки, да и не только рыбаки, но и остальная общественность города относилась, быть может, почтительней, чем к его боевым ранениям.

Массовый рыбак подвержен психозу, он волнами плещется по водоему, долбит, вертит, ругается, вспоминает прежние рыбалки, клянет прогресс, погубивший рыбу, сожалеет о том, что не поехал на другой водоем.

Не такой рыбак дядя Паша. Он припадет к одному местечку и ждет милостей от природы, хотя и мастер в рыбалке не последний, худо-бедно, на ушицу всегда привозит, случалось, и полную шарманку — ящик, мешок и рубаху нижнюю, по рукавам ее завязавши, набивал рыбой дядя Паша, — все тогда управление уху хлебало, особенно низовой аппарат, — всех наделял рыбой дядя Паша. Старец Аристарх Капустин, тот поприжимистей, тот рыбку вялил меж рам в своей квартире, затем, набивши карманы сушенкой, являлся в буфет Сазонтьевской бани, стучал рыбкой по столу — и всегда находились охотники потискать зубами солененькое и поили старца Аристарха Капустина дармовым пивом.

Про дядю Пашу рассказывали каверзную небыль, которой он и сам, однако, одобрительно посмеивался. Будто припал он к лунке, но всякий мимо проходящий рыбак пристает: «Как клев?» Молчит дядя Паша, не отвечает. Его тормошат и тормошат! Не выдержал дядя Паша, выплюнул из-за щеки живых червяков и заругался: «Всю наживку с вами заморозишь!..»

Верного связчика его, старца Аристарха Капустина, одной весной подхватила прихоть поиска — вечером хлынула большая, втекающая в Светлое озеро река, поломала, натоносила лед, мутной, кормной волной подпятила рыбу к середине озера. Сказывали, с вечера, почти в темноте уже, начал брать с а м — матерый судак, и местные рыбаки крепко обрыбились. Но к утру граница мутной воды сместилась и куда-то, еще дальше отпятилась рыба. А куда? Озеро Светлое в ширину пятнадцать верст, в длину — семьдесят. Шипел на связчика Аристарха Капустина дядя Паша: «Нишкни! Сиди! Тута она будет...» Но где там! Лукавый понес старца Аристарха Капустина по озеру.

Полдня злился на Аристарха Капустина дядя Паша, дергал удочками сорожонку, случался крепенький окунек, два раза на ходу цеплялась за рыбешку и рвала лески щучонка. Дядя Паша спустил под лед блесну, подразнил щучонку и вывернул ее наверх — не балуй! Вон она, хищница подводного мира, плещется на вешнем льду, аж брызги летят, в пасти у нее обрывки тонких лесок с мормышками, словно вставными, блескучими зубами украшена наглая пасть. Дядя Паша не вынает мормышки, пусть попомнит, фулюганка, как разорять малоимущих рыбаков!

К полудню из разверстых врат притихшего монастыря с хотя и обветшалыми, но нетленными башенками, имеющего у въезда скромную вывеску «Школа-интернат», вышли и притащились на озеро два отрока, два братца, Антон и Санька, девяти и двенадцати лет. «Сбегли они с последних уроков», — догадался дядя Паша, но не осудил мальцов — учиться им еще долго, может, всю жизнь, весенняя же рыбалка — праздничная пора, мелькнет — не заметишь. Большую в тот день драму пережили вместе с дядей Пашей отроки. Только-только уселись парни подле удочек, как у одного из них взялась и сошла уже в лунке крупная рыбина. Сошла у младшенького, он горько заплакал. «Ничего, ничего, парняга, — напряженным шепотом утешал его дядя Паша, — будет наша! Никуда не денется! На тебе конфетку и ишшо крендель городской, с маком».

Дядя Паша все предчувствовал и рассчитал: к полудню к мутной воде, где кормится планктоном снеток и другая мелкая рыбешка, в озеро еще дальше протолкнется река, пронесет муть и подвалит на охоту крупный «хычник». Отряды рыбаков, зверски бухающие пешнями, грохающие сапогами, оглашающие окрестность матом, ее, пугливую и чуткую рыбу, не переносящую отборного мата, отгонят в «нейтральную полосу», стало быть, сюда вот, где вместе с отроками с самого раннего утра, не сказав — ни единого! — бранного слова, терпит и ждет ее дядя Паша.

И расчет его стратегический полностью подтвердился, терпение его и скромность в выражениях были вознаграждены: три судака весом по кило лежали на льду и скорбно глазели в небо оловянными зрачками. Да еще — самые, конечно, крупные, — два судака сошли! Но кто радовал независтливое сердце дяди Паши, так это малые рыбаки — отроки Антон и Санька. Они тоже достали по два судака на свои утильные, из ружейного патрона склепанные блесны. Младшенький кричал, смеялся, снова и снова рассказывал о том, как клюнуло, как он попер!.. Дядя Паша растроганно его поощрял: «Ну вот! А ты — плакать? В жизни завсегда так: то клюет, то не клюет...»

Тут и случилось самое героическое событие, что в смятение ввело не только рыбаков, но почти все приозерное население, да и часть города Вейска сотрясло.

Снедаемый сатаной, рыбацким ли диаволом, дядя Паша, чтоб не стучать пешней, сдвинулся на ребячьи лунки, просверленные ледобуром. И только опустил свою знаменитую, под снетка излаженную блесну, как ее пробным толчком щипнуло, затем долбануло, да так, что он, уж какой опытный рыбак! — едва удержал в руке удочку! Долбануло, надавило, повело в глыбь озерных вод.

Судачина на семь килограммов и пятьдесят семь граммов — это было потом с аптекарской точностью вывешено, — застрял в узкой лунке. Дядя Паша, плюхнувшись на брюхо, сунул руку в лунку и зажал рыбину под жабры. «Бей!» — скомандовал он отрокам, мотая головой на пешню. Старший отрок прыгнул, схватил пешню, замахнулся и замер: как «бей»?!

А рука? И тогда закаленный фронтовик, бешено вращая глазами, гаркнул: «А как на войне!» — и бедовый парнишка, заранее вспотев, начал раздалбливать лунку.

Скоро лунку прошило красными ниточками крови. «Вправо! Влево! В заступ! В заступ бери! В заступ! Леску не обрежь...» — командовал дядя Паша. Полная лунка крови была, когда дядя Паша вынул из воды и бросил на лед уже вялое тело рыбины. И тут же, взбрыкнув кореженными ревматизмом ногами, заплясал, заорал дядя Паша, да скоро опомнился и, чакая зубами, отворил шарманку, сунул ребятам флягу с водкой, приказал растирать занемелую руку, обезвреживать раны.

Два дня подряд во дворе УВД шла демонстрация, в центре которой перевязанный дядя Паша разводил руками, тряс, дергал, выводил, бросал, орал, прыгал, пел. Сошнин, глядя на все это в окошко, сожалел, что не владеет камерой — это было бы величайшее кино!

На третий день начальник хозчасти отправил дядю Пашу в санупр, где рыбаку дали бюллетень с пометкой «Бытовая травма», то есть неоплачиваемый. Ну, тут уж все сотрудники поднялись в защиту героя, звонили в санупр, в облздрав — и добились справедливости: «бытовая» травма была переправлена на «боевую».

Коммерческий отдел пересудили и пересажали разом. Тетя Лина травилась. Ее спасли и после суда отправили в исправительно-трудовую колонию. Срок ей дали короткий, но мук и позора тетка и Леня вместе с ней пережили много. Сошнин уже учился в областной спецшколе УВД, тетка настояла: «Обмундирование бесплатное, питание, догляд и работа в защиту справедливости...» Она чувствовала — догадался он потом, — что ей несдобровать, и хотела устроить дитятю попрочнее. Из училища Сошнина чуть было не помели. Конторские служащие, жители седьмого и соседних домов, на глазах которых он рос, но главное, однополчанин и друг отца Лавря-казак походатайствовали за него. Лавря-казак подстригся, наодеколонился, почистил штиблеты, обрядился в новый костюм, к борту коего прицепил ордена Славы и еще два ряда орденов, и во всем параде двинул к начальнику областного управления внутренних дел, где имел долгую беседу.

Потом Лавря-казак запряг свою верную лошадку, и они вдвоем с Леней ездили «на торф» — попроведать тетю Лину. Она бухнулась на колени перед боевым фронтовиком, и племянник ее, будущий страж порядка, отвернулся, глотал слезы и клялся про себя беспощадно бороться с преступностью, особо с теми, кто совращает, сбивает с пути невинных людей, калечит им судьбы и души.

Тетю Лину освободили по амнистии. Она поступила работать в химчистку, прирабатывала дома стиркой и все жалась по углам, старалась днем не показываться на люди, говорила тихо, и когда умерла, то Лене казалось: и в домовине она старалась сжаться, прятала от людей глаза и руки, изъеденные химикалиями и мылом, под ластами кружевной черной накидки.

Еще до смерти тети Лины Сошнин окончил спецшколу, поработал в отдаленном Хайловском районе участковым, оттуда и привез жену. Тетя Лина успела маленько порадоваться Лениному устройству, понянчилась с его дочкой Светой, которую считала внучкой, и, когда стала умирать, все сожалела, что не успела дотянуть внучку до школы, не поставила ее на крепкие ноги, мало, совсем мало помогла молодым.

Ах, эти молодые-удалые!.. Гривачи мои... Хорошо бы для них сделать отступление в самой гуманной конституции, отдельным указом ввести порку: молодого принародно, среди широкой площади порола бы молодая, а молодую — молодой...

После смерти тети Лины перешли Сошнины небольшой и совсем не спаянной ячейкой на руки другой, не менее надежной тетки по имени Граня, по фамилии Мезенцева, которая никакой теткой Сошниным не доводилась, а являлась родней всех угнетенных и осиротевших возле железной дороги народов, нуждающихся в догляде, участии и трудоустройстве.

Тетя Граня работала стрелочницей на маневровой горке и прилегающих к ней путях. Стрелочная будка стояла почти на выносе со станции, на задах ее. Был тут построенный и давно покинутый тупик с двумя деревянными тумбами, заросший бурьяном. Лежало под откосом несколько ржавых колесных пар, скелет двухосного вагона, кем-то и когда-то разгруженный штабель круглого леса, который тетя Граня никому растаскивать не давала и много лет, пока лес не подгнил, ждала потребителя, да, так и не дождавшись, стала ножовкой отпиливать от бревен короткие чурбаки, и ребята, стадом обретавшиеся возле стрелочного поста, на этих чурках сидели, катались, строили из них паровоз.

Никогда не имевшая своих детей, тетя Граня и не обладала учеными способностями детского воспитателя. Она детей просто любила, никого не выделяла, никого не била, не ругала, обращалась с ребятишками, как со взрослыми, угадывала и укрощала их нравы и характеры, не прилагая к тому никаких талантов, тонкостей педагогического характера, на которых так долго настаивает нравоучительная современная печать. Возле тети Грани просто росли мужики и бабы, набирались сил, железнодорожного опыта, смекалки, проходили трудовую закалку. Закуток со стрелочной будкой многим ребятам, в том числе и Лене Сошнину, был и детсадом, и площадкой для игр, и школой труда, кому и дом родной заменял. Здесь царил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане Советской державы с самой большой протяженностью железных дорог, не способные еще к самой ответственной на транспорте движенческой работе, заколачивали костыли, стелили шпалы, свинчивали и развинчивали в тупике гайки, гребли горстями насыпь полотна. «Движенцы» махали флажком, дудели в дудку, помогали тете Гране перебрасывать стрелочный балансир, таскать и устанавливать на путях тор-

мозные башмаки, вели учет железнодорожного инвентаря, мели возле будки землю, летами садили и поливали цветки-ноготки, красные маки и живучие маргаритки. Совсем малых, марающих пеленки и не способных еще к строгой железнодорожной дисциплине и труду, тетя Граня не принимала на работу, не было у нее в будке для них условий.

Муж тети Грани, Чича Мезенцев (откуда, почему взялось такое имя — Сошнин так никогда и не дознался), работал кочегаром при железнодорожном Доме культуры, из кочегарки вылезал на революционные праздники да еще на Рождество, Пасху и Воздвиженье, поскольку где-то в воздвиженские сроки у Чичи был день рождения. Тетя Граня работала через сутки по двенадцать часов, с двумя выходными в конце недели, как движенец и, стало быть, ответственный на железной дороге человек. Она уносила мужу в кочегарку на сутки еду и пол-литра водки.

По городу Вейску ходил анекдот, пущенный опять же Лаврей-казаком: будто Чича до того закочегарился, что спутал зиму с летом. К нему в жаркое подземелье спустилась заполыханная делегация самодеятельного местного балета: «Чича! Туды-т-твою, растуды! Какой месяц на дворе?» — «Хвевраль, наврode...» — «Да июнь, конец июня! А ты жаришь и жаришь! Аж партнерши из рук высклизают».

Леня, как и все парни желдорпоселка, готовился в машинисты, ел с братвой печеную картошку, «горькие яблоки», то есть лук с солью, пил дешевый малиновый чай прямо из горлышка тети Граниного медного чайника — ему нравилось пить из чайника, и доселе с той привычкой — пить чай из рожка — он не расставался, что так же приводило к конфликтам в семье.

Однажды остыли батареи в железнодорожном Доме культуры, и труба, коптившая небо и парк культуры и отдыха, что был по соседству с ним, резко обозначилась на фоне известкой беленной тыльной стены Дома культуры, стыдно обнажилась задняя часть помещения, будто изработанная костлявая женщина разболокласъ на сочинском курортном берегу. Что-то неладное сделалось в округе, какая-то привычная деталь выпала из пейзажа города Вейска. Дым над трубой истоньшился и наконец перестал сочиться совсем, иссяк Чича — пал на «боевом посту», как писалось в железнодорожной газете «Сталинская путевка», в заметке «Беззаветный труженик». Из заметки люди узнали, что был когда-то Чича красным партизаном, имел боевой орден и трудовой значок отличия «Ударнику труда», заработанный в кочегарке.

После похорон Чичи тетя Граня какое-то время пребывала в полусне, ходила медленно, в грязных спецодежных ботинках, глаза свои яркие, черные, в которых даже зрачков не было видно, затеняла деревенским платочком, надеваемым, наперекор железнодорожным правилам, даже на работе. Машинисты, составители поездов, сцепщики и кондукторы, уважая человеческую скорбь, не указывали ей на нарушение.

Но не ходит беда одна. С катящейся по маневровой горке платформы вылетела плохо закрепленная горбылина и ударила тетю Граню по голове. Слышал бы тот разгильдяй и пьяница, что неряшливо закрутил проволоку, крепя пиломатериал на платформе, детский крик в закоулке станции Вейск, видел бы, как артелька малышей детсадовского возраста пыталась стащить с рельсов окровавленную женщину, — он бы всю жизнь замаливал грехи, сам справлял бы дело как следует и другим наказал бы работать ладом.

Тетя Граня вышла из больницы, по-куричьи косо держа голову, зрение у нее «сяло и двоилось», для работы на железной дороге, тем более самой ответственной, движенческой, она сделалась негодной.

На сбережения, оставшиеся от мужа, который никуда и ни на что свою зарплату не расходовал, купила тетя Граня в железнодорожном поселке маленький домик с пристройкой во дворе. Домик стоял сразу же за тупиком, возле которого работала когда-то тетя Граня и давно уж его подсмотрела у станционного плотника, мечтавшего податься на золотые прииски аж в Магадан.

В доме тети Грани скоро появилась живность: подрезанная на путях собака Варька, ворона с перебитым крылом — Марфа, петух с выбитым глазом — Ундер, бесхвостая кошка Улька. Перед самой войной тетя Граня привезла в вагоне из родной вятской деревни нетель и попросила племянника подруги, сочинявшего стишки подзаборного и походного свойства, и его приятелей придумать название симпатичной скотине. Ничего путного шпана железнодорожного поселка придумать не могла, одни только неприличные прозвища лезли ей в голову, и осталась нетель с именем родного села — Варакушкой, с ним в коровы перешла да и век свой достославный изжила.

В войну тетя Граня жила коровой. С утра до вечера она таскала с лесопилки в узлом завязанном куске холстины желтые опилки на подстилку корове, жала бурьян по обочинам дороги и траву по берегам реки Вейки. Нигде никакого покоса у нее не было, и все-таки она запасала сена на всю зиму. Варакушка ее всегда доилась отменно, была ласковой, все понимающей, можно сказать, патриотической коровой. Большую часть удоя тетя Граня уносила в ближайший госпиталь — раненым, поила молоком ребятишек, теперь уж не в будке, а в домике ее все так же густо обретающихся. Брали у тети Грани молоко соседи-железнодорожники, а также эвакуированные. На вырученные за молоко деньги тетя Граня выкупала по карточкам хлеб и молотильный сбой или мякину в ближнем колхозе — для пойла корове. Теляток от Варакушки, дорастив до того, чтоб можно было отнять их от матери, тетя Граня за веревочку уводила в госпиталь. После войны и ликвидации госпиталя она какое-то время носила молоко в железнодорожную больницу, после и корову туда отвела — начали сдавать ноги, раздуло суставы на руках, силы покидали тетю Граню, и пришла пора — увезли в железнодорожную больницу. Чуть там отлежавшись, тетя Граня принялась мыть туалеты и коридоры, латать и гладить больничное белье — и осталась нянькой в дет-